Маленький оборвыш

Автор:
Джеймс Гринвуд

Маленький оборвыш

Джеймс Гринвуд

«Я родился в Лондоне, в доме № 19, в переулке Фрайнгпен, близ улицы Тёрнмилл. Читатель, вероятно, вовсе не знаком с этой местностью, а если бы он вздумал разыскивать ее, труды его остались бы безуспешными. Напрасно стал бы он наводить справки у разных лиц, которые по-видимому должны бы хорошо знать и эту улицу, и этот переулок. Мелочной лавочник, живший в переулке «Турецкой головы» за двадцать шагов от моего переулка, в недоумении покачал бы головой в ответ на вопросы любознательного читателя; он сказал бы, что знает по соседству переулок Фрингпон и улицу Томмель, а тех странных названий, о которых ему говорят теперь, не слыхал во всю жизнь; ему и в голову не пришло бы, что его Фрингпон и Томмель не более как исковерканные Фрайнгпен и Тёрнмилл...»

Джеймс Гринвуд

Маленький оборвыш

Глава I

Некоторые подробности о месте моего рождения и о моем родстве

Я родился в Лондоне, в доме № 19, в переулке Фрайнгпен, близ улицы Тёрнмилл. Читатель, вероятно, вовсе не знаком с этой местностью, а если бы он вздумал разыскивать ее, труды его остались бы безуспешными. Напрасно стал бы он наводить справки у разных лиц, которые по-видимому должны бы хорошо знать и эту улицу, и этот переулок. Мелочной лавочник, живший в переулке «Турецкой головы» за двадцать шагов от моего переулка, в недоумении покачал бы головой в ответ на вопросы любознательного читателя; он сказал бы, что знает по соседству переулок Фрингпон и улицу Томмель, а тех странных названий, о которых ему говорят теперь, не слыхал во всю жизнь; ему и в голову не пришло, бы, что его Фрингпон и Томмель не более как исковерканные Фрайнгпен и Тёрнмилл.

Однако – что бы ни думал лавочник, но переулок Фрайнгпен существует, это несомненно. Наружный вид его и теперь точно такой же, какой был двадцать лет назад, когда я там жил; только каменная ступенька при входе в него сильно стерлась, да дощечка с названием его подновлена; вход в него такой же грязный, как прежде, и с таким же низким, узким сводом. Свод этот так низок, что мусорщик с корзиной должен чуть не на коленях проползать через него, и так узок, что лавочный ставень или даже крышка гроба могут служить ему воротами.

В детстве я не был особенно весел и беззаботно счастлив: главное свое внимание я постоянно обращал на гробы и на похороны. Через наш переулок проходит, особенно летом, множество похорон, и потому не удивительно, если я часто думал о гробах: я мысленно измерял всех наших соседей и соображал, возможно ли будет пронести их гробы по нашему тесному переулку. Особенно беспокоился я о похоронах двух особ; во-первых толстого трактирщика, жившего в улице Тёрнмилл и часто заходившего в наш переулок за кастрюлями и горшками, которые соседки брали у него и потом забывали возвращать ему. Живой он должен был выходить из переулка боком, а что будет, когда он умрет, и вдруг плечи его завязнут между двумя стенами?

Еще больше беспокоили меня похороны миссис Уинкшип. Миссис Уинкшип была старушка, жившая при входе в переулок; она была короче, но за то еще толще трактирщика; кроме того, я от души любил и уважал ее, мне не хотелось, чтобы с ней даже после смерти обращались непочтительно, и потому я долго и часто задумывался над тем, как пронести гроб её через узкий вход. Миссис Уинкшип занималась тем, что давала напрокат тележки и в долг деньги фруктовым торговцам, жившим в нашем переулке. Она гордилась тем, что тридцать лет не

ходила никуда дальше улицы Тёрнмилл, раз только сходила в театр, да и то свихнула себе ногу. Она обыкновенно сидела целые дни на пороге своего собственного дома; вместо стула ей служила опрокинутая коксовая мерка, на которой лежал для большего удобства мешок мякины. Сидела она таким образом с целью подкарауливать фруктовых торговцев: она должна была требовать с них деньги, пока они шли домой, распродав свой товар, иначе ей часто пришлось бы терпеть убытки. В хорошую погоду она и завтракала, и обедала, и чай пила, не сходя со своего мешка. С ней жила племянница её, молодая женщина, страшно обезображенная оспой, одноглазая, с волосами зачесанными назад, некрасивая, но очень добродушная и часто кормившая меня превкусными обедами. Она держала ключ от сарая, в котором стояли тележки, и готовила кушанья своей тетке. Что это были за кушанья! Мне пришлось в жизни бывать на многих превосходных обедах, но ни один из них не мог сравниться с обедами миссис Уинкшип. Как раз в час пополудни миссис Уинкшип передвигала свою коксовую мерку от дверей к окну гостиной и спрашивала: Все ли готово, Марта? Подавай! – Марта открывала окно и расставляла на подоконнике соль, уксус, перец и горчицу, потом выносила большой ящик, заменявший стол и покрытый белой, как снег, скатертью, и, наконец, вбегала обратно в комнату, откуда подавала тетке обед в окно. Как вкусен казался этот обед, как он приятно дымился и, главное, какой удивительный запах распространял он! У нас, мальчишек и девчонок Фрайнгпенского переулка, вошло в поговорку, что у миссис Уинкшип всякий день воскресенье. Мы в домах своих никогда не едали тех вкусных блюд, которыми угощалась она, и находили, что лучше их ничего не может быть на свете. На нашу долю доставался один только запах, и мы вполне наслаждались им. После обеда миссис Уинкшип обыкновенно пила ром с горячей водой. Смеялись ли мы над доброй старушкой за это, осуждали ли мы ее за её маленькую слабость к вину? О нет, нисколько! Мы рано поняли, что эта слабость может быть выгодна для нас. Каждому из нас, мальчишек и девчонок переулка, хотелось, чтобы она именно его послала в лавку за своей обыкновенной порцией рома. Для этого нужно было употребить некоторые уловки. Мы обыкновенно зорко следили из подворотней, скоро ли старушка кончит обед и опять перенесет свой мешок к порогу дома. Тогда кто-нибудь из нас выходил из засады и подходил к ней, зевая по сторонам с самым невинным видом. Подойдя довольно близко, следовало спросить, не нужно ли ей купить чего-нибудь?

– Вы со мной говорите, мальчик? – обыкновенно удивлялась миссис Уинкшип.

– Да-с, я иду в улицу Томмель за патокой для матери, я думал, не надо ли вам чаю или чего-нибудь другого.

– Нет, спасибо, мальчик; я уже купила себе чаю, а молоко мне сейчас принесут, больше мне, кажется, ничего не нужно.

И сама она, и каждый из нас очень хорошо знал, чего ей было нужно. Но беда, если бы какой-нибудь неловкий мальчик вздумал намекнуть о роме! Никогда больше не пришлось бы ему исполнять поручений старушки! Надобно было после ответа миссис Уинкшип просто вежливо поклониться и пройти мимо, тогда она наверное подзовет к себе и скажет:

– Слушайте, мальчик, вам ведь все равно, сбегайте-ка заодно к мистеру Пиготу, знаете?

– Как же-с, знаю-с, это трактир «Собака в Забор».

– Ну да, купите мне там на три пенса лучшего рома и кусок лимона. А вот вам за труды!

Она давала ловкому мальчику маленькую монетку и после этого ему оставалось только следить за ней, пока она пила; после последнего глотка она становилась необыкновенно добра, и часто подходившему к ней в это время перепадала еще одна или две монетки. Меня она особенно любила, и в один вечер мне удалось получить от неё целых четыре полупенса.

Впрочем, я был занят все время нянченьем своей маленькой сестренки, и мне редко удавалось пользоваться милостями миссис Уинкшип, так что я совсем не из корыстных целей тревожился насчет её смерти. Мне так и не удалось видеть этого печального события. Когда я убежал из Фрайнгпенского переулка, добрая старушка спокойно сидела на своей коксовой мерке, а когда я взрослым, загорелым мужчиной вернулся из Австралии, оказалось, что никто из живущих в Клеркенуэльском приходе ничего о ней не знает.

Во всех прочих отношениях я по возвращении из дальних стран нашел наш переулок точно таким, каким оставил его. По-прежнему с одного окна спускалась гирлянда нанизанных на нитку луковиц, с другого полосы сухой трески, на третьем красовались свежие сельди. По-прежнему у некоторых жителей переулка был день стирки; изодранные занавески, лохмотья пестрых одеял, заштопанные рубашки и фланелевые фуфайки по-прежнему сушились на веревках, приколоченных к стенам домов или привязанных к половым щеткам.

По-прежнему в конце переулка стояла большая дырявая водяная бочка, в которую каждое утро в течение трех четвертей часа бежала вода из резервуара, и по-прежнему около этой бочки была толкотня, суетня и перебранка. Тут стояли большие, костлявые, неопрятные женщины в башмаках на босу ногу, с растрепанными волосами, с ведрами, которыми они грозно замахивались на всякого, кто осмеливался прежде них подойти за водой; тут стоял здоровенный, неуклюжий ирландец с кастрюлей в руках; он расталкивал локтями и всем телом маленьких девочек, пришедших за водой со своими горшочками и котелками, и, чтобы пробраться вперед, топтал колючими гвоздями своих тяжелых сапог их бедные, босые пальцы; тут был даже силач, точь-в-точь «лихой Джек», внушавший мне в детстве и страх, и уважение, и перед этим силачом точно также пугливо сторонились не только бедные, босоногие девчоночки, но даже неуклюжий ирландец, даже сердитые женщины. Все, все осталось неизменным, хотя много лет прошло с тех пор, как я жил здесь ребенком. Я стал осматривать дома. Глаза мои упали на дом № 19. Все то же, даже, кажется, все та же сахарная бумага, все то же старое тряпье заменяет стекла во многих окнах! И если бы теперь, сейчас же, одно из этих окон отворилось, высунулась бы оттуда рыжая, всклоченная голова, и послышался бы резкий голос: «Джимми! Гадкий мальчишка, я тебя до крови изобью, если ты не сойдешь с этой лестницы и не уймешь девчонку», – я нисколько не удивился бы. Меня ласкали, мне читали наставления, меня бранили сотни раз из этого самого окна. В той комнате, которую оно освещает, родилась моя сестрица Полли, когда мне было немногим больше пяти лет. В этой же самой комнате умерла мать моя через несколько минут после рождения сестрицы.

Не думайте, что рыжая женщина с пронзительным голосом была моя мать, нет, это была моя мачеха. О своей матери я помню только, что это была женщина с темными волосами и бледным лицом. Должно быть, она была добра ко мне, потому что я нежно любил ее и до сих пор люблю. Отец обращался с ней грубо, неласково. Часто бранил он ее, часто даже бил, так что она кричала на всю улицу. Мне было очень жаль бедную мать, и я не понимал, за что так не любит ее отец, а между тем он на самом деле любил ее, он не ожидал, что его побои сделают ей какой-нибудь вред, и не переменил своего обращения даже тогда, когда она начала хворать.

Глава II

Что случилось в одну пятницу

В одну пятницу после обеда я, вдоволь наигравшись на улице, возвращался домой; взойдя на лестницу, я приготовлялся отворить дверь в нашу комнату, как вдруг меня остановила миссис Дженкинс; она жила вместе с своим мужем одним этажом ниже нас, но на этот раз очутилась за чем-то в нашей комнате. Она высунула голову на лестницу, сердитым голосом велела мне идти играть на улицу и заперла дверь на ключ под самым моим носом, Это очень обидело и рассердило меня. Я начал реветь во все горло, стучать и ломиться в дверь. Я просил мать выгнать вон гадкую Дженкинс и дать мне хлеба с патокой. На мои крики мать подошла к двери.

– Не шуми так, Джимми, – сказала она мне ласковым голосом: – я больна, у меня болит голова, вот возьми, купи себе пирожок!

Я услышал у ног моих металлический звук; я нагнулся и увидел, что мать просунула мне монету сквозь щель под дверью. Я схватил монетку и побежал купить себе пирожок.

Долго играл я на улице, но, наконец, соскучился и опять вернулся домой. Не успел я добраться по нашей лестнице до первого этажа, как меня обогнал какой-то высокий господин весь в черном; он видимо торопился, шагал через две, три ступеньки и постучался у наших дверей. Ему отворили, и он опять запер за собой дверь. Я сел на ступеньку лестницы и стал поджидать, когда он уйдет прочь. Но он не уходил, и я ждал до тех пор, пока заснул. Отец мой, воротившийся в этот вечер позднее обыкновенного и под хмельком, нашел меня спящим на лестнице и принялся громко бранить мать за то, что она не заботится обо мне.

– У матери кто-то есть, отец, – заметил я.

– Кто-то есть?

– Кто такой? – спросил отец.

– Какой-то господин с такой белой штукой на шее, и сапоги у него скрипят. Миссис Дженкинс тоже там.

Отец вдруг стал кроток.

Мы сошли вниз и постучались в дверь к старому Дженкинсу. Он вышел к нам заспанный, протирая глаза, и тотчас же втащил отца в свою комнату.

– Вы были наверху, Джим? – спросил он встревоженным голосом.

– Нет, – отвечал отец: – что там такое случилось?

– Дело дрянь! – проговорил старик все тем же встревоженным голосом. – Моя старуха не велела мне пускать вас туда. Она и за доктором послала, туда нашло много женщин, да доктор всех выгнал, говорит, нужны тишина и спокойствие.

– Доктора всегда это говорят, – спокойно заметил отец.

Это спокойствие, как кажется, не понравилось мистеру Дженкинсу.

– Ничего не понимает! – проворчал он сквозь зубы. – Ну, как тут приготовить его понемножку! – и затем, обратившись к отцу, сказал решительным голосом:

– Надо вам знать, Джим, что там плохо, совсем плохо! – он указал пальцем на потолок.

На моего отца подействовали не столько слова мистера Дженкинса, сколько тон, которым они были произнесены. Он видимо был поражен до того, что не мог говорить. Он снял шапку и присел на стул возле окна, держа меня на коленях.

– Она вас все ждала, – проговорил Дженкинс после минутного молчания: – чуть стукнет наружная дверь, она сейчас: вот это мой Джим! Это его походка! Я знаю!

– Она меня ждала? Меня хотела видеть? Как это странно! – вскричал отец.

– Она говорила и еще более странные вещи, – продолжал Дженкинс: – она говорила: «Я хочу поцеловать его, я хочу, чтобы он держал меня за руку, я хочу помириться с ним перед смертью!»

Отец быстро вскочил со стула, прошелся два, три раза по комнат, – так тихо, что едва слышно было, как его кованные сапоги прикасались к полу, – остановился спиной к Дженкинсу и лицом к картин, висевшей на стене, и простоял так нисколько минут.

– Дженкинс, – сказал, он наконец, продолжая смотреть на картину: доктор всех прогнал оттуда… Я боюсь идти туда… Сходите вы, позовите свою жену!

Дженкинсу видимо неприятно было исполнять это поручение, но ему не хотелось своим отказом тревожить и без того огорченного отца. Он вышел из комнаты, и вскоре мы услышали шум его шагов, поднимавшихся по лестнице. Через нисколько секунд в комнату вошла сама миссис Дженкинс вместе со своим мужем. Увидя нас, она всплеснула руками, упала на стул и начала громко рыдать. Я ужасно перепугался.

– Что же мама встала теперь? – спросил я у неё.

– Встала? Нет, мой бедный ягненочек, – отвечала она, задыхаясь от слез: – нет, бедный сиротка! Она никогда уж больше не встанет.

На минутку отец отвел глаза от картины и взглянул на миссис Дженкинс, как будто хотел что-то сказать, но промолчал.

– Она умирает, Джим, – продолжала Дженкинс. Доктор сказал, что нет надежды спасти ее!

И миссис Дженкинс снова зарыдала. Старый муж её ходил вокруг неё и старался утишить ее. Я не хорошо понял что она сказала, но слова её почему-то сильно перепугали меня, я подбежал к ней и спрятал голову в её коленях. Отец, казалось, не обращал на нас внимания. Он прислонился лбом к стене, и вдруг я услышал странный звук: пит, пат, пит. Картина, которую он так внимательно разглядывал перед тем, была приклеена к стене только верхней частью, нижний угол её заворотился, и, вероятно, слезы отца, падая на этот угол, производили странный звук: пит, пат.

Вдруг он сделал усилие над собой, вытер глаза носовым платком и повернулся к нам.

– Доктор, наверху? – спросил он.

– Да, конечно, неужели я бы оставила ее одну!

– Я пойду туда, – решительным голосом проговорил отец.

– Нет, не ходите, Джим, – убеждала Дженкинс: – доктор говорит, что ей нужен покой, что всякое волнение усиливает её страдания.

– Говорю вам, что пойду, – повторил отец. – Бедняжка! Она хочет держать ту руку, которая так часто била ее! Она просит меня помириться:

Подождите здесь, миссис Дженкинс, может быть, ей надобно сказать мне что-нибудь по секрету.

Он вышел из комнаты, но в эту самую минуту сверху раздался нетерпеливый голос доктора.

– Миссис, как вас там! Идите скорее сюда! Нужно же ей было уходить именно теперь!

Миссис Дженкинс вскочила с места и бросилась наверх, за ней пошел и отец.

Недолго пробыл он наверху. Скоро шаги его снова раздались по лестнице, и он вернулся к нам.

Он взял меня на колени, облокотился на стол, закрыл лицо руками и не говорил ни слова.

Дело было в половине сентября; вечера становились темны и холодны. Мы сидели все трое молча. Старый Дженкинс мастерил клетку для канареек.

Вдруг отец встрепенулся и неожиданно закричал: – Боже мой, Дженкинс, как мне тяжело, я не могу выносить больше, меня душит!

Он развязал свой толстый шейный платок.

– Я не могу больше выносить ни минуты. Ей-Богу, не могу!

– Я бы на вашем месте, Джим, прошелся немножко по улице, так, минут десять. Пойдемте, я с вами пойду!

– А мальчик? – спросил отец.

– Ему ничего посидеть тут минутку, ведь правда, Джимми? Он посмотрит, как белка бегает в колесе.

Я сказал, что посижу, что это ничего, но на самом деле я думал другое; они ушли, а я остался один в комнате. В это время становилось все темнее и темнее, и наконец почти совсем смерклось. Я не очень любил миссис Дженкинс, и потому почти никогда не бывал в её комнате. Теперь я уже провел в ней больше часа, но я все время был занят тем, что говорилось и делалось вокруг меня, так что не успел разглядеть вещей, которые были в этой комнат. Оставшись один, я занялся этим разглядываньем. Вдоль стены было расставлено несколько птичьих клеток, в них сидели птицы, но все они, за исключением дрозда, уже спали, спрятав голову под крылья. Дрозд сидел смирно, только глаза его сверкали и мигали всякий раз, как я на него взглядывал. Кроме дрозда и белки, в комнате на маленьком столике лежал китовый ус и стоял пузатый кувшин с человеческой головой, широко разинувшей рот, из которого готова была вылиться струя воды. Чем темнее становилось, тем страннее представлялись мне все окружающее предметы: мне даже страшно стало смотреть по сторонам; я уставил глаза на клетку белки и стал следить за маленьким зверьком, быстро бегавшим в своем проволочном колесе.

Прошло гораздо больше десяти минут, но мой отец и Дженкинс не возвращались. Стало уж совсем темно, и я изо всей белки видел только белое пятно на её груди; колесо её скрипело, когти её щелкали, часы тикали безостановочно, а наверху в комнате матери раздавался скрип сапог доктора. Мне стало так страшно, что я не мог больше вынести; я слез со стула на пол, закрыл глаза, чтобы не увидать мимоходом ужасного дрозда, тихонько вышел из комнаты и, вскарабкавшись до половины лестницы, сел на ступеньку. Если бы с матерью была одна Дженкинс, я непременно прошел бы в нашу комнату, но меня пугал доктор; при нем я не решался отворить нашу дверь. Не очень удобно было мне сидеть на жесткой лестнице, но все же лучше, чем оставаться в страшной комнате Дженкинса. Сквозь замочную скважину нашей двери пробивалась яркая

полоса свита, освещавшая часть перил. Я сел на лестницу, как можно ближе к этому светлому местечку, ухватился за перила обеими руками и скоро заснул крепким сном. Не знаю, сколько времени я спал, меня разбудил голос отца.

– Это ты, Джимми? – спросил он: – зачем ты здесь? Разве тебе надоело сидеть одному?

– А он должно быть сидел у окна, поджидая нас, – заметил Дженкинс, – и как заметил, что мы идем, побежал сейчас же отворить нам дверь.

– Нет, нет! – вскричал я, ухватившись за отца: – Совсем неправда! Мне было страшно, папа!

Отец хотел что-то ответить мне, но промолчал, и мы молча вошли в комнату Дженкинса, успевшего уже зажечь свечу.

Вдруг наверху послышался шум отворяющейся двери и затем скрип сапог доктора по лестнице.

– Доктор уходит! – проговорил отец взволнованным голосом: – должно быть, ей лучше!

Но доктор не уходил; напротив, он остановился около нашей двери и постучал. Дженкинс поспешил отворить ему.

– Ваше имя Бализет? – обратился к нему доктор, – вы, муж…

– Нет-с, извините, это не я. Джим, иди же сюда.

– Я её муж к вашим услугам, сэр – сказал отец, смело выступая вперед и держа меня на руках. – Как она себя чувствует теперь, позвольте спросить?

– А, это вы мистер Бализет, – проговорил доктор совсем не тем грубым голосом, каким говорил прежде. – А это тот мальчуган, о котором она вспоминала?

– Да, должно быть, сэр. Нельзя ли нам теперь взойти повидать ее? Мы бы не стали беспокоить ее.

– Ну, дружок, – перебил доктор, взяв меня за руку своей большой рукой в черной перчатке, – твоя бедная мама скончалась, и ты должен быть теперь добрым мальчиком. У тебя есть маленькая сестрица, и ты должен заботиться о ней в память о своей матери. Прощай, мой милый. Прощайте, мистер Бализет. Переносите вашу потерю мужественно, как следует мужчине. Спокойной ночи!

В ответ на слова доктора отец молча наклонил голову. Он был поражен, глаза его блуждали по сторонам, и он как будто ничего не понимал. Только когда старый Дженкинс пошел светить доктору на лестницу, к отцу возвратилась способность соображать и говорить.

– Господи, Боже мой! Умерла! Умерла! – проговорил он глухим голосом с подавленными рыданиями.

Так застал его старый Дженкинс, когда воротился со свечой; так застал его священник, который прошел к матери, вероятно в то время, когда я спал на лестнице, и теперь, возвращаясь назад, хотел сказать ему несколько утешительных слов; так застала его миссис Дженкинс и нисколько соседок, вошедших в комнату вместе с ней. Все он старались сказать отцу что-нибудь успокоительное, но он не слушал их. Миссис Дженкинс принесла с собой какой-то сверток тряпок и, развернув его, стала просить отца поглядеть на малютку и подержать ее на руках. Отец подержал малютку, но обратил на нее очень мало внимания. Мне также позволили подержать немножко мою маленькую сестрицу. Соседки, замечая, что отец не хочет говорить с ними, понемножку ушли все прочь; миссис Дженкинс зачем-то позвали наверх, и мы с Дженкинсом опять остались одни.

– Примите мой совет, Джим, – сказал он, обращаясь к отцу: – ложитесь спать вместе с мальчиком. Там в задней комнате стоит постель моего сына Джо, он до утра не придет домой; лягте, Джим, если не заснете, то хоть успокоитесь!

После нескольких увещаний, мы с отцом согласились, наконец, переночевать в комнате Джо. Комната эта никак не могла считаться удобной спальней. Джо Дженкинс работал по ночам на графитовом завод, а днем занимался продажей птиц, кроликов и собак, деланьем клеток и набиванием птичьих чучел, Вся комната была завалена разными вещами, отовсюду торчали проволоки и деревянные палки, кроме того, там сильно пахло каким-то клеем и красками. Но отец был неприхотлив, к тому же на этот раз он, вероятно, не заснул бы

спокойно в самой богатой спальня, на самой удобной постели. Пока еще люди в доме не спали, пока слышались шаги вверх и вниз по лестнице, пока до нас доносился шум с улицы, он лежал довольно спокойно. Но когда мало помалу звуки на улиц затихли, и кругом все успокоилось, отец начал тревожно вертеться в постели. Он перевертывался с боку на бок, то крепко сжимал руки на груди, то закрывал ими глаза. Одна вещь очень удивила меня. Как ни ворочался отец, он все время тщательно старался не потревожить меня. При всяком неловком движении он нежно гладил меня по плечу и шептал: ш-ш-ш, как бы боясь, что я проснусь. Но я и не думал спать. Я не знал в точности, что именно случилось, но я чувствовал, что случилось что-то страшное. Мне очень хотелось понять, что именно сделалось с матерью. Миссис Дженкинс сказала, что её нет, а между тем я слышал, как наверху ходили и тихо разговаривали какие-то две женщины, должно быть, он были там с матерью; только зачем же, уходя, он заперли дверь на ключ? Я спрашивал у миссис Дженкинс: – куда ушла мама, и скоро ли она вернется? и она ответила мне: «Она никогда не вернется, мой бедный мальчик; она ушла туда, куда идут все добрые люди и она никогда не придет назад». Долго ли это «никогда», спрашивал я самого себя. Что это – день, неделя, месяц? Что это – дольше, чем до дня моего рождения или до святок? Я часто слыхал прежде слово «никогда», но в точности я не понимал его. Я помню, раз отец сказал утром за завтраком матери: «Знать я тебя не хочу! Я никогда больше не съем куска хлеба с тобой вместе», а вечером он пришел и спокойно ел хлеб и другие кушанья вместе с матерью. Мать также сказала раз отцу, когда он ударил ее так сильно, что она упала на пол: «Джим, я никогда, никогда, пока жива, не прощу тебе этого!» А, говорят, она его простила, она хотела поцеловать его и помириться с ним. Должно быть, «никогда» значит разные времена. Что оно значит, когда говорят про мать? Надо непременно завтра же спросить у миссис Дженкинс. А, может, и отец знает, спрошу-ка лучше у него.

– Папа, ты спишь?

– Нет, Джимми, не сплю, а что?

– Папа, что такое «никогда»?

Отец приподнялся на локоть; он, должно быть никак не ожидал такого вопроса.

– Ш-ш! Спи, Джимми, тебе верно приснилось что-нибудь?

– Нет, я еще не спал, я оттого и заснуть не могу, все об этом думаю. Скажи мне, папа, что такое «никогда», мамино «никогда?»

– Мамино «никогда»? – повторил он. – Чудной ты мальчик, что выдумал, я не понимаю.

– И я не понимаю, папа, я думал ты мне скажешь!

– Ты теперь лучше спи, – сказал отец, плотнее укрывая меня: – теперь все умные дети спят, нечего думать об «никогда», никогда долгий день.

– Только день? Только один длинный день? Как я рад! И ты рад, папа?

– Не особенно рад, Джимми; короткий или длинный – день, мне все равно.

– А для мамы не все равно! Если «никогда» один только день, значит через день мама воротится к нам; Ты будешь рад, папа?

Он еще выше приподнялся на локте и посмотрел а меня с печальным видом, как я мог заметить при свете месяца, глядевшего в окно.

– Нет, Джимми, – сказал он грустным голосом, – она не воротится, никогда не воротится. Целыми четвериками, целыми мешками золота не воротишь ее! Как она может вернуться, Джимми, когда она умерла, ведь ты знаешь, что она умерла, знаешь?

– Умерла!

– Да, умерла! – повторил отец шепотом. – Вон видишь птица на полке (это была одна из птиц, отданных Джо для выделки чучел. При тусклом свете месяца я мог хорошо разглядеть ее; она была страшная, без глаз, с широко раскрытым клювом и блестящими железными проволоками, продернутыми через все тело), видишь, Джимми, вот это смерть. Мама не может ожить и придти к нам, как этот снегирь не может спрыгнуть с полки и летать по комнат.

– Я думал, папа, умерла значит ушла, а мама не ушла? Так она там наверху, и в нее воткнуты такие острые штуки?

– Ах, Боже мой, нет, что делать с этим ребенком! Дело в том, Джимми, что мама не может ни видеть ни слышать, ни ходить, ни чувствовать, если бы даже ее искололи теперь всю, она не почувствует. Она умерла, Джимми, и вот скоро принесут гроб и положат ее туда и спустят ее в яму! Моя бедная Полли! Бедная моя, милая! А я и не поцеловал тебя перед смертью, как тебе хотелось, не, простился с тобой!

Голос отца вдруг оборвался, он уткнулся лицом в подушку и зарыдал так, как никогда не рыдал. Испуганный этим концом нашего разговора, я со своей стороны принялся кричать и плакать. Отец, боясь, что мой крик разбудит всех жильцов в доме, сделал усилие, чтобы подавить свое горе, и принялся успокаивать меня.

Это однако оказалось не совсем легко.

Объяснения, которые дал мне отец, ужасно напугали меня. Напрасно старался он утешить меня и ласками, и угрозами, и обещаниями. Он вздумал рассказывать мне сказку и стал говорить о каком-то ужасном великане-людоеде, который каждый день за завтраком ест вареных детей, но эта история еще больше встревожила меня. Он ощупью достал из кармана своих панталон кошелек с деньгами и подарил мне его; он обещал на другое утро покатать меня в своей тележке; зная, что я люблю селедки, он обещал мне целого сельдя на завтрак, если я буду умным мальчиком; я давно просил купить мне одну хорошенькую лошадку, которую я видел в окне игрушечного магазина, отец давал честное слово, что купит мне эту лошадку, если я лягу спать и перестану кричать.

Нет, нет, нет! Я требовал матери и не хотел ничего другого. Я непременно хотел идти с отцом к ней наверх, где она лежит вся истыканная, как снегирь Джо, и выпустить ее на волю; я просил, молил отца пойти наверх и чем-нибудь помочь бедной маме, без этого я не соглашался успокоиться.

– Нет, – решительным голосом сказал отец, этого я не сделаю ни за что на свете. Если ты не хочешь быть умником, так кричи себе, пока устанешь.

Отец сказал это так твердо, что я сразу увидел невозможность добиться чего-нибудь своим криком. Я согласился поцеловать его и быть умником на том условии, что он сейчас же встанет и зажжет свечу, и что завтра рано утром я

увижу маму. Отец очень обрадовался таким удобоисполнимым условиям, но на деле оказалось, что первое из них не так легко, как он думал. Дженкинс, уходя, унес свечу, так что ему нечего было зажечь.

– Экий гадкий этот Дженкинс, – сказал он, думая обратить дело в шутку: – унес все свечи; зададим же мы ему завтра, как ты думаешь?

Я вспомнил, что женщины, бывая в комнате матери, спускаясь вниз, поставили свечу и спички подле самой двери Дженкинсовой квартиры, и сказал об этом отцу. Но ему, как видно, очень не хотелось брать эту свечу, и он опять принялся уговаривать меня и сулить мне разные подарки. Вместо всякого ответа, я опять начал кричать и громко звать мать. Отец поворчав немного, тихонько вышел за дверь, принес свечу, зажег ее и поставил на полку.

В то время я был, конечно, слишком мал для каких-нибудь серьезных мыслей, по впоследствии мне часто приходил в голову вопрос о том, что должен был чувствовать отец, смотря на эту горящую свечу. Ему, может быть, думалось о том, что эта свеча горела весь вечер в комнате матери, что её слабеющие глаза изменили ей в то время, когда она глядела на пламя этой самой свечи! И он устремлял глаза на огонь с выражением такой тоски, такого горя, каких я никогда больше не видел у него. Я не чувствовал ничего подобного; мне хотелось одного, чтобы свеча была подлиннее, я боялся, что этот маленький сальный огарок скоро догорит, и опять я останусь в темноте с теми страшными мыслями, которые пришли мне в голову после рассказа отца. А между тем и при свечке мне было немногим лучше: свет её падал прямо на несчастного снегиря, и я вполне мог разглядеть его черную, шарообразную голову, его широко раскрытый клюв, его окоченелые ноги. Я чувствовал, что дрожу от страха при виде этого чудовища, и все-таки не мог отвести от него глаз. Но вот догоревшая свеча начала трещать и вспыхивать, я сделал усилие над собой, повернулся лицом к стене и заснул. Проспал я спокойно до тех пор, пока утром в Дженкинсовой комнате послышалось звяканье чайной посуды.

Глава III

Похороны

В первое время после смерти матери я не особенно жалел о ней. Напротив, мне жилось очень хорошо. Все женщины нашего переулка, узнав, что я сирота, почувствовали к мне необыкновенное сострадание и нежность. Чуть я, бывало, выходил из ворот, как со всех сторон слышалось: «Вот идет бедный крошка Джемми!» и, прежде чем я доходил до водяной бочки, десятки рук успевали погладить меня по головке, и у меня набиралось столько кусков пудинга и хлеба с патокой, что я с трудом съедал их в целый день. Не одними лакомствами угощали меня добрые соседи. Беспрестанно останавливали меня на улице незнакомые люди и начинали задавать разные нужные вопросы, клонившиеся к тому, чтобы заставить меня расплакаться; потом в утешение они ласкали меня и дарили мне мелкие монеты. Карман моих маленьких панталон едва мог вмещать мои богатства, и вследствие этого я сделался очень расточительными В кондитерской за углом не было ни одного лакомства, которого бы я не попробовал. Кончилось теме, что на третий день после смерти матери я заболел так сильно, что ко мне привели доктора. Все говорили, что я последую за матерью, и всеобщее участие ко мне, начинавшее было ослабевать, возгоралось с новой силой.

Мать моя умерла в пятницу, а похороны её назначены были во вторник. Все это время я так редко бывал дома, что совсем не видал приготовлений к печальной церемонии. Я даже не ночевал дома, так как миссис Уинкшип предоставила в мое распоряжение люльку, в которой спала племянница её Марта, когда была ребенком.

Похороны в переулке Фрайнгпен справлялись обыкновенно очень просто, без всяких затей. Там все жили рабочие, трудовые люди, которым некогда было жертвовать много времени покойникам. Траур носили обыкновенно только женщины, мужчины же не меняли своих фланелевых и бумазейных курток, и единственным знаком их печали был кусок черного крепа, которым они обвязывали рукав. Во время смерти матери отец носил бумазейную куртку мышиного цвета и красный шейный платок с голубыми крапинками; в это платье он и нарядился во вторник утром в комнате Дженкинса, пока гробовщик и его люди хлопотали наверху. Собственно для похорон он купил себе только пару новых штиблет, а мне фуражку с козырьком. Узнав, что я пойду за гробом, мистер Кроуль, гробовщик, взял эту фуражку и приколол вокруг длинный черный флаг, спускавшийся до самых моих пяток; через несколько минут, проходя мимо меня под воротами, где я угощал приятелей сладким печеньем, он увидел, что один мальчик наступил ногами на мой длинный флаг, это очень рассердило угрюмого гробовщика, он дал затрещину мальчику, отчистил грязь с флага и подколол его повыше.

За гробом должны были идти: отец, я, миссис Дженкинс с ребенком на руках (замечу кстати, что после того вечера, когда мне в первый раз показали мою маленькую сестрицу, я ни разу не видал её) и четверо приятелей отца. Все было уже готово, один я играл в подворотне с ребятишками и не думал ни о каком погребении. Наконец, за мной послали одну соседку; она увидала меня, схватила на руки и поспешно унесла.

– Идем, Джимми, – говорила она, – все собрались; тебя одного ждут.

Действительно, похоронная процессия уже вышла из дома № 19 и ждала только, чтобы я стал рядом с отцом. Кладбище старой приходской церкви находилось на расстоянии какой-нибудь полуверсты от нашего дома, но гробовщик с своими блестящими сапогами, намасленными волосами и черными лайковыми перчатками имел такой вид, точно он собрался в путь на целый день. Он медленно шел впереди, а за ним двигались покрытые носилки. Должно быть, я был очень глуп для своих лет, но я никак не мог себе представить, что такое лежит на этих носилках. Я видел только какую-то странную, черную штуку; блестящую, красивую, обшитую кругом бахромой и подвигавшуюся вперед на восьми ногах; у одной из этих ног на сапоге была прореха, сквозь которую виднелся чулок.

– Что это такое, папа? – шепнул я отцу.

– О чем ты спрашиваешь, мой милый?

– Да вот об этой штуке с ногами, папа.

– Ш-ш! Это твоя мать, Джимми! Помнишь, я тебе рассказывал. Они несут ее в яму.

С этими словами он опустил руку в карман куртки и, вынув из него носовой платок, отер себе глаза.

День был ясный и солнечный; в балагане, мимо которого мы проходили, показывали «индейского военачальника» и «великаншу»; множество моих знакомых мальчиков и девочек бежали смотреть их. Погода была очень жаркая, толпа народа теснила нас с боков. Это бы еще ничего, но новая фуражка была

мне велика, – отец купил ее без мерки, и она почти совсем закрывала мне глаза. Я попробовал сдвинуть ее на затылок, но тогда мой траурный флаг начал волочиться по земле, так что миссис Дженкинс, шедшая сзади меня с ребенком на руках, наступила на него ногой; она нахлобучила мне фуражку совсем на нос, и мне стало еще хуже. После нескольких минут уныния я осмелился еще раз подвинуть фуражку назад; но она опять нахлобучила мне ее с восклицанием: «Господи! Что за несносный ребенок!» После этого мне оставалось только покориться. Наконец, мы дошли до ворот кладбища. Ворота были отворены, и церковный сторож ждал нас при входе. Мы вошли, восемь ног с носилками двигались еще медленнее прежнего. За нами тянулась целая толпа народа, но сторож впустил за ограду только тех, у кого был креп на рукаве. Мы прошли по довольно длинной дорожке, с обеих сторон которой возвышались могильные памятники, и вошли в церковь. Миссис Дженкинс сняла с меня фуражку и посадила меня на какую-то скамейку. Передо мной была высокая спинка другой скамейки, так что я решительно ничего не мог видеть. Я слышал что какие-то два голоса читали или говорили что-то поочередно, но не понимал ни слова, и с нетерпением ждал пока они кончат. Наконец, они кончили; черная блестящая штука на восьми ногах двинулась вон из церкви, и мы все пошли за ней, но не к тем дверям, через которые вошли, а к другим, маленьким. До тех пор я никогда не бывал в церкви и потому с любопытством оглядывался по сторонам. Особенно заняли меня большие ковры, разостланные по полу, и блестящие подсвечники с хорошенькими беленькими свечками. Из церкви мы опять пошли по дорожке, а затем свернули в сторону, на очень неровную местность, усеянную пригорками, по которым мне было так трудно идти, что отец взял меня на руки. Сидя на его руках, я увидел, что мы остановились подле какой-то большой ямы. Незнакомый мне человек, весь в белом, начал что-то читать по книге, а к нам подошли еще каких-то четыре человека с грязными руками и платьем, запачканным землей. Они сняли блестящую черную штуку с плеч носильщиков, обвязали ее полотном и опустили в большую яму.

Теперь и только теперь понял я, что значит: смерть, гроб и «никогда»

Для отца и для всех остальных мать умерла еще в пятницу; все они знали, что она лежит в гробу, и что будут делать с этим гробом. Для меня она умирала именно теперь, в эту минуту, и я считал грязных могильщиков её убийцами. У меня было страшно тяжело на сердце; а между тем я не мог плакать. Какие-то странные, смутные мысли роились в голове моей и удерживали мои слезы.

Прочитав молитвы, священник закрыл книгу и ушел, а за ним пошли и все. Когда мы сошли с кладбища, мистер Кроуль спросил отца, не думает ли он, что не дурно зайти и выпить по стаканчику пива. Отец охотно согласился на это, и вся компания вошла в первую распивочную. Я тоже пошел за другими, но скоро мне надоело сидеть в душной комнате, где отец начинал ссориться с одним из своих знакомых; я снял креп с фуражки и побежал домой.

Глава IV

Женщина, которой суждено было сделаться моей мачехой

Наш дом в переулке Фрайнгпен был разделен на мелкие квартиры и отдельные комнаты. На одной площадке с нами жила одна ирландка, миссис Бёрк. Она была вдова: муж её, кровельщик, умер через несколько месяцев после свадьбы. Миссис Бёрк была молода, весела, не дурна собой, а между тем я терпеть ее не мог. Она возбуждала во мне отвращение не своими рыжими волосами, хотя я терпеть не могу волос этого цвета, а тем, что была рябая. Её руки и лицо были усеяны бесчисленным множеством веснушек; я воображал, что эти гадкие, желтые пятна легко можно отмыть, а так как миссис Бёрк не отмывала их, то я считал ее грязной и неопрятной. Поэтому я не соглашался ни за что съесть куска из её рук. Она всегда очень щедро угощала меня разными лакомствами, но я отказывался от её пудингов, говоря, что сыт, а яблоки её я ел не иначе, как срезав с них толстый слой кожи. Раз она дала мне несколько печеных картофелин. Я бросил их под лестницу и спрятал в кучу сору.

– Что, понравились картошки, Джимми? – спросила она через нисколько минут.

– Да-с, очень, благодарю вас, – отвечал я. А в эту самую минуту вошла в комнату её кошка с картошкой во рту. Она вероятно вытащила а из сору и принесла теперь к своей хозяйки.

С этих пор миссис Бёрк невзлюбила меня. Встречаясь со мной, она всегда смотрела на меня очень сердито и иногда даже называла меня разными бранными именами. С родителями моими она, напротив, была постоянно очень любезна. Это, впрочем, и неудивительно: отец всегда давал ей много разной зелени, говоря: «нельзя же не помочь одинокой женщине».

Эту-то миссис Бёрк я нашел в нашей комнате, когда возвратился домой с похорон матери. Было уже почти совсем темно; никто не видал, как я прошел по переулку и возвратился на лестницу. Я не спешил домой, хотя не ел с утра и был порядочно голоден. Мне смутно казалось, что теперь все в нашей комнате должно быть приведено в прежний вид, но я далеко не был уверен в этом. Я без шуму прокрался по лестнице до площадки нашего этажа и выглянул из-за угла. Дверь нашей комнаты была заперта последние дни, теперь она стояла полуоткрытой. Я увидел часть стены нашей комнаты и, странное дело, на этой стене отражался свет огня. Никогда в жизни не забуду я того странного чувства, которое овладело мной в эту минуту. Кто мог зажечь огонь в нашей комнате? Конечно, мать, кто же кроме неё? Я всегда возвращался домой в это же время, вдоволь наигравшись на улице, и заставал мать в хлопотах около печки: она подкладывала дров в огонь и готовила ужин к приходу отца. Может быть, черные носилки, могильная яма и все, что так удивляло меня в последние дни, объяснится каким-нибудь счастливым образом? Вдруг, я увижу мать в комнате, как видел ее пять дней тому назад, когда в последний раз входил сюда вечером? Все эти мысли смутно толпились в голове моей, и я почувствовал какое-то радостное волнение. В этом волнении я бросился к дверям, но мечты мои в миг рассеялись: сквозь полуотворенную дверь я увидел небольшой кусок пола нашей комнаты, я заметил, что пол этот необыкновенно чисто вымыт, я услышал скрип качающегося стула и женское пение; я сразу узнал голос миссис Бёрк. Я приотворил дверь и взглянул в комнату. Действительно, это была миссис Бёрк. Она сидела у камина в чистом, ситцевом платье, в нарядном чепчике, качала на коленях мою маленькую сестру и убаюкивала ее песней. На столе был расставлен чайный прибор, и до меня донесся приятный запах поджаренного хлеба. В этот день все так захлопотались с похоронами матери что я остался без обеда и потому был страшно голоден. «Хорошо поесть жареного хлебца», – мелькнуло у меня в голове, но мне тотчас же представились весноватые руки миссис Бёрк, и я решил, что не стану есть хлеба, до которого она дотрагивалась, а лучше уйду и подожду отца на дворе.

В эту самую минуту кошка миссис Бёрк вошла в комнату, широко растворив дверь, и мяукнула, почуяв свою хозяйку. Миссис Бёрк оглянулась кругом, чтобы узнать, кто отворил дверь, и заметила меня, прежде чем я успел отскочить назад.

– Ах, это ты, голубчик Джимми, – сказала она таким ласковым голосом, какого я никогда не слыхал от неё: – войди же сюда, сядь к печечке.

– Не надо, мне и здесь тепло.

– Полно, будь умницей, садись, пей чай, как маленький джентльмен, – настаивала миссис Бёрк, маня меня к себе указательным пальцем.

Я не смел отказываться и с угрюмым видом вошел в комнату. Не успел я сделать и шести шагов от дверей, как уже раскаялся в своей неблагодарности к миссис Бёрк. Добрая женщина вымыла и вычистила нашу комнату так, что прелесть. Печка была вымыта, очаг вычищен, вместо нашей согнутой кочерги и ржавой лопатки для выгребанья углей, красовался блестящий, как серебро, прибор миссис Бёрк. Пол был вымыт и посыпан мелким песком, а перед печкой был разостлан чистый коврик. Наша глиняная посуда стояла на чайном подносе миссис Бёрк; чайные ложечки, красиво разложенные по чашкам, принадлежали также миссис Бёрк. Вместо жестяной кружки, из которой я обыкновенно пил чай, красовался фарфоровый горшочек с золотой надписью: «подарок из Тенбриджа». В горшочке также лежала ложечка. Этого мало: миссис Бёрк любила разные безделки, и в её комнате была целая полка, уставленная стеклянными и фарфоровыми вещицами самой странной формы. В числе этих вещиц почетное место занимала фарфоровая масленка, расписанная зеленой, голубой и пунцовой краской, теперь эта самая масленка стояла на нашей печке с кашкой для ребенка и казалась необыкновенно красивой, когда огонь играл на её пестром узоре.

– Где же твой папа, Джимми? – спросила миссис Бёрк, снимая с меня фуражку и бережно вешая ее на гвоздь за дверью. – Он остался на кладбище, Джимми?

– Да, недалеко от кладбища.

– Где же это недалеко, душенька?

– В распивочной.

– Он верно подошел к прилавку выпить рюмочку с горя. Бедный человек! Не плачь, Джимми (я не плакал и не думал плакать): он наверно сейчас придет домой!

– Он не подходил к прилавку, он сидит в комнате с могильщиками.

– А, он там сидит! – сказала миссис Бёрк, принимаясь ласкать мою маленькую сестру. – А что, он плакал Джимми?

– Нет, он курил трубку и пил водку.

– А тебя он отослал домой, Джимми? Что же он говорил?

– Он говорил одному человеку, что тот, кто сажает и продает спаржу, должен знать как ее называть лучше, чем тот, кто изредка нюхает ее, проходя мимо кухмистерской. Должно быть, отец подерется с этим человеком; он говорил, что готов разбить нос всякому, кто называет вещи не так, как следует.

– Верно этот человек называл твоего отца какими-нибудь обидными именами?

– Нет, он никакими именами не называл папу, он только назвал спаржу как-то не так.

Миссис Бёрк ничего не отвечала, но принялась еще нежнее ласкать ребенка. Потом она уложила сестрицу в постель, принесла из своей комнаты половую щетку, подмела золу, просыпавшуюся на пол, потерла своим чистым фартуком фарфоровую масленку и другие вещи, вышла вон, высунула голову в дверь и быстрым взглядом окинула всю комнату; затем подошла к печке, передвинула немножко масленку, так, чтобы её великолепие сразу бросилось в глаза всякому, кто войдет в дверь. Убедившись наконец, что все в порядке, она взяла сестру на руки и долго стояла с ней у окна, смотря на улицу. Когда совсем стемнело, она опустила оконные занавески и поставила свечку в медный подсвечник, блестящий как зеркало. Должно быть, она заметила, с каким удивлением я смотрел на этот сияющий подсвечник.

– Надо вычистить эту грязную штуку, Джимми, – сказала она: – ты привык видеть ее гораздо чище, не правда ли?

– Нет, он у нас никогда не был таким чистым, – откровенно отвечал я. – Это прелесть что за подсвечник!

– Ну, так и быть, значит, можно оставить. Ведь твой папа такой строгий, Джимми, он, пожалуй, будет не доволен этой грязной, старой масленкой!

– Какой масленкой?

– Да той, которая стоит на печке с детской кашкой.

– Эта масленка не грязная. Здесь все чисто, только…

– Что такое только? Что здесь не чисто? Говори скорей! Ну же!

Миссис Бёрк покраснела от гнева и проговорила эти слова очень сердитым голосом. Это было, может быть, счастьем для меня: мне по глупости показалось, что все было чисто, исключая её весноватого лица и рук, и я собирался сказать ей это. Её гнев испугал меня, я схитрил и сказал смиренным голосом:

– Да вот я не совсем чист, у меня руки грязные.

Я тотчас же получил наказание за свою хитрость. Миссис Бёрк вскрикнула так, как будто никогда в жизни не видала грязных рук (а мои были еще чище, чем обыкновенно), положила ребенка на постель, взяла меня к себе в комнату и там задала моему лицу и рукам такую стирку желтым мылом и жестким полотенцем, что у меня слезы выступили на глазах. После этого она намазала мои волосы своей помадой, причесала своей гребенкой и устроила мне по завитку на каждом виске. Затем, оправив мой передник и пояс, она посадила меня на стул подле печки и спросила:

– Хочешь теперь пить чай, Джимми, или подождешь папу?

Я уже давно с жадностью поглядывал на кучу кусочков хлеба, поджаренных в масле. Голод мучил меня, но он не в состоянии был победить моего предубеждения против весноватых рук, которыми миссис Бёрк, конечно, брала хлеб, разрезая его.

Может быть, поджариваясь, хлеб очистился? мелькнуло у меня в голове? Это так, но ведь она его мазала маслом. А, вот отлично! Все масло с верхнего куска стекло вниз. Если она предложит мне кусочек хлеба, думал я, возьму верхний. Но, к несчастью, в ту самую минуту, когда она спросила, хочу ли я пить чай теперь, она смахнула какую-то соринку с масленки, и её весноватая рука дотронулась до корки намеченного мной куска.

– Благодарю вас, я лучше подожду папу, – проговорил я грустным голосом.

Миссис Бёрк занималась обыкновенно тем, что шила мешки для картофеля. Услышав, что я не хочу пить чай теперь, она пошла в свою комнату и принесла оттуда три готовых мешка и холст для четвертого. Готовые мешки она положила на стул возле себя, надела передник из толстой парусины, чтобы не запачкать своего чистого ситцевого платья, и принялась за работу.

Не знаю, сколько времени шила миссис Бёрк свой мешок, должно быть, очень долго. Свеча сгорела на большой кусок, а мне страшно захотелось спать, и я начал немилосердно ерошить себе волосы. Она разбранила меня за это самым сердитым образом.

– Поди сюда, поросенок! – закричала она: – держи-ка мне лучше свечку, чем храпеть да чесать голову.

Я подошел и стал держать свечу, пока она дошила мешок. В это время уголья перегорели и, обрушившись, перепачкали очаг; поджаренный хлеб совершенно пригорел; какой-то уголек вдруг вспыхнул ярким пламенем, которое хватило до фарфоровой масленки и закоптило ее.

– Черт возьми все эти чаи! – вскричала с гневом миссис Бёрк, хватая масленку. Сиди здесь да жди, а он там пьянствует, как свинья! Уж именно, как говорят, не стоит метать бисер перед свиньями!

Несколько минут она ворчала, сердясь главное на меня, как будто я был виноват во всех её неприятностях, потом вдруг спохватилась, запела какую-то веселую песню и сказала самым спокойным голосом:

– Не беда, Джимми, на свете бывают несчастия и похуже.

Успокоившись таким образом, она поправила огонь, стерла сажу с масленки, переложила куски хлеба, пригладила мне волосы, положила оконченный мешок к трем остальным и принялась шить новый. Я задремал, сидя на стуле, и меня разбудили тяжелые, неверные шаги отца, поднимавшегося по лестнице.

Он распахнул дверь и вошел в комнату.

Глава V

Миссис Бёрк ухаживает за моим отцом

– Пожалуйте, мистер Бализет! – сказала миссис Бёрк самым ласковым и добродушным голосом.

Отец сделал три-четыре шага по комнате, с удивлением оглядываясь кругом. Он, видимо, выпил больше, чем следовало, и поэтому фуражка его была сдвинута на сторону; в одной руке он держал вязанку дров, в другой рыбу.

– Вы пришли домой раньше, чем мы ожидали, и потому застали меня за работой в вашей комнате… Извините, пожалуйста, я сейчас уйду.

С этими словами миссис Бёрк встала, отодвинула к стене тот стул, на котором лежали готовые мешки, и тот, на котором сама сидела, и остановилась среди комнаты, добрая, приветливая, держа неоконченную работу в руках.

Отец был совершенно ошеломлен всем, что видел. Он смотрел с удивлением то на масленку, стоявшую на печке, то на ребенка, опрятно уложенного в постель, то на поджаренный хлеб и на чайный прибор. Наконец он опустился на стул, понурив голову. Дрова раскатились по комнате, и рыба, выскользнув из рук его, упала на пол.

– Вы верно не совсем здоровы, Джемс Бализет, – с нежной заботливостью сказала миссис Бёрк. – Волнения сегодняшнего дня расстроили вас, бедный вы человек.

– Нет, нет, это не то…

– Как не то? Конечно то, – вы со мной не стесняйтесь, я ведь сама все это испытала, я знаю, что вы должны чувствовать.

– Нет, вы не знаете! – настаивал отец. – Я сюда шел и думал: ну, теперь все кончено, не будет у тебя уютного уголка у печки, не будет готового ужина. Коли

захочешь съесть кусочек чего-нибудь, покупай и дрова, и всякую приправу. Вот смотрите, я и купил.

Отец вынул из кармана куртки какую-то приправу из пряностей, положил ее на стол и заплакал.

– Полноте, Джемс Бализет! – вскричала миссис Бёрк: – вы добрый человек, вы должны же были подумать, что в этом доме живет такое же одинокое, несчастное существо, как вы, и что я не оставлю двух беспомощных сироток!

– Вот я все это думаю, – продолжал жалобным голосом отец: – прихожу домой и что же вижу? Вижу, что все так хорошо, как будто ничего и не случилось, даже лучше.

Он принялся плакать еще сильнее.

– Не думала я вас так огорчить, мистер Бализет, – печальным голосом сказала миссис Бёрк: – право, не думала; извините меня, пожалуйста.

– Нет, нет, я очень хорошо знаю, что вы не хотели огорчать меня! – вскричал отец: – у вас золотое сердце, я всегда это думал, а теперь я в этом уверен.

– Не прикажите ли чего-нибудь, мистер Бализет, – смиренным голосом спросила миссис Бёрк: – не налить ли вам чаю? Или не хотите ли, я схожу в свою комнату и изжарю вам кусочек рыбы?

– Нет, благодарю вас, – все еще печальным голосом проговорил отец: – я не хочу есть.

– Ну, если вам что-нибудь понадобится, кликните меня, – сказала миссис Бёрк, направляясь к своей комнате.

– Вы по своим делам уходите? – спросил отец.

– Я ухожу, чтобы не беспокоить вас.

– Так уж довершите ваши милости, останьтесь напиться с нами чаю.

Миссис Бёрк уступила желанию отца и придвинула себе стул к столу.

– Вы любите сладко, Джемс? Так не будет много?

– Не беспокойтесь, пожалуйста, обо мне, наливайте себе, – вежливо отвечал отец.

– Помилуйте, что за беспокойство! – Миссис Бёрк положила в чашку кусок сахару, размешала, отведала чай; потом прибавила еще сахару и протянула чашку отцу.

Отец с благодарностью посмотрел на нее и потянулся за поджаренным хлебом.

– Ах, что вы! – вскричала миссис Бёрк, отнимая у отца взятую им тартинку, не берите верхнего ломтя, он жарился больше часа и весь сгорел, позвольте, я вам выберу кусочек помягче и пожирнее.

– Мы совсем избалуемся, Джимми, если нас будут всегда так угощать, – заметил мне отец, кусая поданный ему ломоть.

– Отодвинь стул подальше, Джимми, – сказала миссис Бёрк, не заслоняй огня, пусть папе будет теплее.

– Мне очень хорошо, благодарю вас, – проговорил отец: – по правде сказать, лучше было бы, если бы огонь не так сильно подогревал мне ноги, а то новые сапоги тесны, а от жару они станут еще теснее. Надо бы снять их.

– Так зачем же дело стало? Джимми, что же ты не прислужишь отцу? Сними ему сапоги и принеси домашние туфли.

– Туфли! – со смехом вскричал отец: – какие там туфли! Вы обо мне говорите, как о каком-нибудь богаче!

– Неужели вы не носите туфель? – спросила миссис Бёрк с таким удивлением, точно будто отец сказал ей, что он ходит не на ногах, а на деревяшках.

– Никогда в жизни не носил! Где же мне, такому грубому малому, щеголять в туфлях!

– Да как же можно без домашних туфель? Вы меня просто удивляете, Джемс! Вы, конечно, занимаетесь грубым, простым делом, чтобы честным трудом заработать себе пропитание, но это ничего не значит. У себя дома каждый человек джентльмен, и каждая добрая жена должна смотреть на своего мужа с уважением. Снимай папе сапоги. Джимми, мы сейчас обуем его ноги поуютнее.

Пока я стаскивал тяжелые сапоги с ног отца, миссис Бёрк ушла в свою комнату и через минуту вернулась назад, неся в руках пару отличных туфель из тонкой кожи на теплой подкладке.

– Это туфли моего доброго, покойного мужа, царство ему небесное! – сказала миссис Бёрк. – Извините, что я вам предлагаю такое старье, мистер Бализет!

Она погрела туфли перед печкой и затем надела их на ноги отца.

– Ишь, как хорошо! ноги точно в бархате! – с наслаждением заметил отец. А – ведь дорого, должно быть, стоят такие туфли! Неужели вы их купили из заработков вашего мужа?

– Ну, нет, это было бы трудно, – засмеялась миссис Бёрк: – я купила их на свои собственные заработки, откладывая по пенни, по два в день.

– Может ли это быть! – вскричал отец, с удивлением глядя на миссис Бёрк.

– Отчего же нет? Муж работал для меня с утра до ночи, так и я должна была трудиться для него.

Отец ничего не отвечал, но он пристально смотрел на миссис Бёрк, видимо удивляясь ей.

– Джимми, – сказал он мне после нескольких минут молчанья: – нам теперь хорошо, надо стараться, чтобы и всегда также было. Помнишь, что тебе сказал доктор в ту ночь? Будь добрым мальчиком, слушайся миссис Бёрк.

– Он мне не говорил, что надо слушаться миссис Бёрк, – возразил я, – он говорил…

– Не в том дело, что он говорил; ты должен слушать то, что я тебе говорю, и не сметь рассуждать, – перебил отец, нахмурившись.

– Боже мой, да он и без того послушный, – вмешалась миссис Бёрк. – Кушай хлеб, душенька, – прибавила она, передавая мне кусок поджаренного хлеба.

Я должен был есть, так как она пристально глядела на меня.

– А вам много было работы, – заметил отец: – вы тут и с ребятишками возились, и комнату прибрали!

– Э, помилуйте, какая это работа, это скорей удовольствие. Сами посудите, много ли мне было с ними возни; посмотрите, какие я мешки сшила сегодня вечером по четыре с половиной пенни за штуку!

– Как, вы все здесь вычистили да еще сшили все эти мешки! – вскричал отец, пересчитывая мешки. – Вы выработали восемнадцать пенсов, присмотрели за двумя детьми и вычистили комнату, все в один вечер! Вы необыкновенная женщина!

– И нисколько даже не торопилась, меня работой не испугать, мистер Бализет!

Она говорила неправду. Я очень хорошо помнил, что она принесла из своей комнаты три уже совсем готовые мешка. Думая, что она просто ошиблась, я открыл рот, чтобы поправить ее, но она покачала головой и нахмурилась самым выразительным образом. Впрочем, я ее не боялся; она не смела бить меня при отце, а мне хотелось отомстить ей за то, что она меня бранила и заставляла держать для себя свечу.

– Какая вы ужасная выдумщица, миссис Бёрк! – сказал я, подвигаясь поближе к отцу.

Она посмотрела на меня с такой злобой, что даже скосила глаза.

– Это что такое? – спросил отец, круто поворачиваясь ко мне.

– Она выдумщица, – мужественно повторил я.

– Что такое «она»? Кого ты называешь «она», маленький грубиян? С какой стати называешь ты миссис Бёрк выдумщицей?

Я заметил, что он взялся за ременный пояс, и струсил.

– Ах, Господи, да не сердитесь на него, Джемс, – опять заступилась за меня миссис Бёрк: – он это сказал без всякого дурного умысла, он просто вспомнил, какие сказки я ему рассказывала, чтобы он не заснул до вашего прихода, оттого он и назвал меня выдумщицей!

– А, вот оно что! А я думал, этот дуралей говорит про мешки, что у вас счет не верен: до этого ни мне, ни ему нет дела.

– До правды всякому есть дело, Джемс, – возразила миссис Бёрк.

Затем она обратилась ко мне и сказала, подмигивая мне глазом.

– Смотри, голубчик Джимми, здесь четыре мешка; скажи папе, сколько я сшила, пока ты тут сидел и смотрел на меня?

Что мне было делать? Отец видимо верил ей больше, чем мне. Я никогда не пробовал его ремня, но я видал, какие тяжелые удары он наносил матери.

– Четыре-с, – ответил я.

– Ну, конечно, – спокойно сказала миссис Бёрк: – что правда, то правда.

И она дала мне большой кусок сахару!

Это была моя первая ложь, и она привела к очень грустным последствиям. Мысль, что миссис Бёрк может заработать в один вечер восемнадцать пенсов, произвела сильное впечатление на отца, и я явился участником низкого

плутовства.

Крик моей маленькой сестры положил конец разговору о мешках. Миссис Бёрк взяла малютку на руки и начала кормить ее кашкой из великолепной масленки, целовать и называть самыми нежными именами. Отец несколько минут с умилением смотрел на эти ласки, но сон одолел его, и он скоро задремал на своем стуле. Накормив сестру, она унесла ее к себе в комнату, затем вернулась к нам и принялась убирать чайную посуду. Звяканье чашек разбудило отца.

– В котором часу встаете вы обыкновенно, мистер Бализет? – спросила миссис Бёрк, видя, что отец открыл глаза: – я бы хотела приготовить вам чай.

– Чай? Эх, Господи! Я и на рынке позавтракаю!

– С какой же это стати? Не лучше ли съесть кусочек у себя дома, чем на рынке, в толкотне.

– Оно лучше-то лучше! Да дело в том, что я ухожу из дому в пять часов, это слишком рано! – возразил отец.

– Что же такое, что рано? Неужели потому, что вы остались одиноким вдовцом, вам идти на рынок, не согревшись чашкой теплого. Да я считала бы себя дрянной женщиной, если бы не приготовила вам все, как следует, не только к пяти, а даже к трем часам! Спокойной ночи, мистер Бализет!

На другой день, в половине пятого утра миссис Бёрк уже стучала в нашу дверь, объявляя отцу, что у неё готов кипяток и кусок жареной рыбы. Не успел отец одеться, как она уже опять подбежала к нашим дверям.

– Извините, мистер Бализет, – проговорила она ласковым голосом: – я сейчас только вспомнила, что оставила иголку в вашей комнате, а мне ужасно хочется скорей приняться за работу.

– Сто лет проживешь, такой женщины не встретишь! – вполголоса пробормотал отец.

Глава VI

Моя новая мать. Я получаю полезное сведение из разговора отца с одним приятелем

Ухаживанья миссис Бёрк за отцом кончились тем, что он женился на ней. Не знаю, через сколько месяцев после смерти матери случилось это, но, вероятно, месяцев через семь-восемь, так как моя сестра Полли стала уже довольно большим ребенком, и я с трудом мог пронести ее от одного конца переулка до другого. За все это время в моих чувствах к миссис Бёрк произошла небольшая перемена. Прежде я только не любил её, теперь я стал ее ненавидеть. Она платила мне тем же, и, не стесняясь, высказывала свои чувства. В первое же утро после похорон матери, она притянула меня к стулу, на котором сидела, и сказала злобным голосом:

– Поди-ка сюда, голубчик, ты помнишь, какую штуку ты чуть не сыграл со мной своей болтовней?

Она намекала на вчерашний разговор о мешках. Я ничего не отвечал, но она видела, что я понимаю, о чем идет дело.

– Ты думал, что при отце меня нечего бояться, ты думал испугать меня своей болтливостью? Слушай, что я тебе говорю, змееныш! Я тебя исправлю так, что ты у меня шелковый будешь! Я буду беспрестанно смотреть за тобой, ты куска хлеба не съешь без моего спросу! И если ты пикнешь про меня что-нибудь отцу, я тебя так отдеру, что чудо!

Я видел, что мне не под силу бороться с таким неприятелем и, молча, покорился. Я исполнял все приказания миссис Бёрк, я свято хранил все её тайны, я ничего не делал без её позволения. Все это нисколько не смягчало ее. Целый день морила она меня какой-нибудь работой. Когда Полли не спала, я должен был нянчиться с ней, когда она засыпала, меня посылали за чем-нибудь в лавку, или заставляли убирать комнату, или давали мне вощить нитки, которыми миссис Бёрк шила мешки. В целый день у меня не было свободной минутки. И за все мои труды меня даже не кормили. Отец давал каждое утро деньги на хозяйство миссис Берк, а она тратила их себе на водку. Чтобы отец не узнал этого, она посылала меня покупать на пени костей и рассказывала отцу, что это остатки наших обедов. Раз, помню, я купил ей огромную кость из бычачьего ребра,

которая вовсе не годилась для замышляемого ею обмана. Она ужасно рассердилась, ударила меня этой костью по голове и послала продавать ее за полпени. Я был страшно голоден, и куски мяса, прилипшие к кости, казались мне очень соблазнительными, хотя они совсем съежились и почернели; я попросил позволения обгрызть их, но она и того не позволила. Ей самой было нужно мало пищи: водка заменяла для неё всякую еду.

Она даже вмешивалась не в свое дело, чтобы лишить меня пищи. Отцу всегда было приготовлено к ужину какое-нибудь горячее кушанье, а так как я очень часто от завтрака до ужина не ел ничего, кроме корки хлеба, то мне сильно хотелось получить от него подачку. Если миссис Бёрк видела, что отец дает мне что-нибудь со своей тарелки, она тотчас же вступалась в дело:

– Ах, Боже мой, Джемс, – говорила она, – пожалуйста, не кормите ребенка: он право объестся и заболеет! Он очень добрый мальчик, но ужасно жадный: сегодня за обедом я три раза накладывала ему такие огромные порции вареной баранины, что хватило бы на двух!

– Экий негодяй! – сердито замечал отец. – А вертится тут да смотрит мне в рот, точно не ел целую неделю! Пошел спать, обжора, пока не бит.

Я ложился спать с пустым желудком, не смея произнести ни слова в свое оправдание.

Раз миссис Бёрк сыграла со мной особенно гадкую штуку. К ней пришла в гости какая-то женщина, и они вместе пропили все деньги, которые отец оставил на обед и ужин. Когда гостья ушла, миссис Бёрк, протрезвившись несколько, начала трусить. Надо было откуда-нибудь достать денег отцу на ужин; но откуда? – все её вещи, даже великолепная фарфоровая масленка, были давно заложены; ни денег, ни припасов ей никто не давал в долг. Она куда-то ушла из комнаты, потом вернулась через несколько минут в сильном унынии и начала плакать и причитать самым жалобным образом.

– Бедная я, несчастная, что мне делать! – рыдала она. – Скоро придет домой твой папа, голубчик Джимми, и я не могу приготовить ему ужин, и он до смерти изобьет меня! Несчастная я, одинокая женщина!

Я не мог равнодушно видеть слез, не мог выдержать названия «голубчик Джимми»; я подошел к миссис Бёрк, я старался утешить ее и спрашивал, не могу ли чем-нибудь помочь ей?

– Это ты так только говоришь, Джимми, – жалобным голосом проговорила она, – а думаешь совсем другое. Да и правда, ты не можешь меня жалеть, потому что я всегда дурно обращалась с тобой! Ох, уж только бы миновала эта беда, я бы пальцем тебя никогда не тронула!

Смиренное раскаяние миссис Бёрк еще больше растрогало меня.

– Вы мне скажите только, чем вам помочь, – я все сделаю! – с жаром уверял я, схватывая её весноватую руку.

– Помочь-то мне, конечно, можно, милый Джимми, только мне не хочется просить тебя об этом. Вот тебе, голубчик, полтора пенса, трать их себе, как хочешь.

Щедрость миссис Бёрк совсем ошеломила меня, и я стал еще больше упрашивать ее сказать мне, как помочь ей.

– Да видишь ли, душенька, – проговорила она, наконец: – ты бы мог сказать папе, что я тебя послала купить на пени анисового семени для ребенка, и что ты потерял деньги. Ведь это не трудно, голубчик Джимми?

– А как отец приколотит меня за это?

– Полно, дружок! Как же это можно? – ведь я буду тут! Я скажу отцу, что на тебя налетел большой ротозей и толкнул тебя, что ты ни в чем не виноват! Он не станет тебя бить, будь в этом уверен! А теперь поди, погуляй, купи себе, чего хочешь, на свои полтора пенса.

Я ушел, хотя на душе у меня было неспокойно, и вдоволь нагулялся. Я нарочно не торопился возвращаться домой, чтобы миссис Бёрк успела до меня рассказать отцу историю о потерянных деньгах.

Не знаю, многим ли раньше меня вернулся домой отец, но когда я вошел – он уже стоял у дверей с ремнем в руке.

– Иди-ка сюда, негодный шалун! – вскричал он, хватая меня за ухо: – куда ты девал мои деньги, говори сейчас!

– Я потерял их, папа, – проговорил я в страхе, смотря умоляющими глазами на миссис Бёрк.

– Потерял? Где же это ты их потерял?

– Да я шел купить семя для Полли, а большой мальчик наскочил на меня и вышиб их у меня из рук…

– И ты думаешь, я поверю твоим россказням! – вскричал отец, бледный от гнева.

Меня не особенно удивило недоверие отца, но я был просто поражен, когда миссис Бёрк вдруг проговорила.

– Да, вот он и мне сказал тоже! А спросите-ка у него, Джемс, где он шатался до сих пор, и отчего у него масляные пятна на переднике?

На моем переднике действительно были пятна от жирного пирожка, которым я полакомился за свои полтора пенса.

– Ах ты дрянной воришка! – закричал отец: – ты украл мои деньги и пролакомил их!

– Да, я думаю, что это так, Джемс, – сказала низкая женщина, – и я бы советовала вам дать ему хорошенькую порку!

Она стояла тут, пока отец стегал меня до крови толстым кожаным ремнем. Насколько было возможно, я прокричал ему всю историю о его деньгах, но он не слушал меня и бил, пока рука его не устала. После сеченья меня заперли в заднюю комнату и оставили там в темноте до самой ночи. О, как я ненавидел в это время миссис Бёрк! Я был взбешен до того, что почти не чувствовал боли от кровавых рубцов, избороздивших тело мое. Я перебирал в уме все несчастия,

какие только знал, и всех их желал ей.

Но напрасны были мои желания. На другой день она вошла в нашу комнату добрая и веселая, как всегда, и всякий день входила такой же веселой, пока отец не повенчался с ней.

Свадьба их была очень тихая, никто в переулке ничего не знал о ней, и я вовсе не подозревал, какое важное событие готовится у нас. Раз вечером, отец возвратился домой вместе с миссис Бёрк; они привели с собой одного молодого человека, приятеля отца, и послали за бутылкой рома. Когда я принес ром, гость налил его в стаканы и стал поздравлять отца и миссис Бёрк и желать им всякого счастья. Меня это нисколько не интересовало, и я уже собирался уйти вон из комнаты, когда отец остановил меня.

– Поди сюда, Джимм, – сказал он: – видишь ты кто это сидит на стуле?

– Конечно, вижу, – смеясь, отвечал я: – это миссис Бёрк.

– Ну, слушай. Больше никогда не смей произносить этого имени. Ее зовут не Бёрк.

– Не Бёрк? А как же, папа?

– Ее зовут мать, вот как ты должен называть ее; и ты должен обращаться с ней, как с матерью. Если ты этого не исполнишь, я тебя попотчую кушаньем, которое не придется тебе по вкусу! Смотри же, помни!

В словах отца не было ничего особенно печального, но, услышав их, я принялся горько плакать.

– Это что значит? – сердито сказал отец: – ты бы должен был благодарить меня! Разве ты не рад, что у тебя теперь есть мать?

Я не мог отвечать от слез.

– Скажите, пожалуйста, чего этот негодяй хнычет? – закричал отец: – что я, совета у него должен был прежде спросить, что ли!

– Оставь его, друг мой, – вмешалась миссис Берк. Он ужасно упрямый мальчик, я сама не раз испытала это, да ведь ты и сам знаешь, какой он дрянной!

Я знал, что она намекает на историю о пропавших деньгах, и уже готов был ответить ей далеко невежливо, но молодой гость, вероятно угадав мое желание, мигнул мне, чтобы я держал язык за зубами, и притянул меня к себе.

– Полно, не нападайте на мальчугана, – сказал он: – может быть, он заплакал оттого, что уж очень обрадовался своей новой матери. Сколько ему лет, Джемс?

– Седьмой год.

– Э, так ему, пожалуй, скоро придется самому себе хлеб зарабатывать.

– Еще бы, давно пора, – затараторила мачеха: – вон какой большой мальчишка! Пора работать!

– Да ведь он и так работает, – недовольным голосом заметил отец: – он целые дни нянчит Полли!

– Ну уж работа! Сидит себе с милой крошкой на руках, а то так бросит ее, да и играет с мальчишками.

– А я вам скажу, – решительным голосом произнес гость, – что нет хуже на свете работы, как нянчить ребенка! Меня самого заставляли заниматься этим милым делом, так я бросил его при первой возможности, хотя мне после этого пришлось взяться просто за лаянье.

При этих словах добрый гость сунул мне тихонько в руку пенни: мне ужасно захотелось скорей улизнуть, чтобы пролакомить свои деньги, и я перестал обращать внимание на разговор больших. Однако слова молодого человека о лаянье крепко запали мне в ум. Я сам охотнее бы стал лаять, чем нянчиться с ребенком. Но для кого могло быть нужно мое лаянье? Я видал иногда, как пастух гонял гурты овец, и видал, как мальчики помогали ему загонять стада и при этом лаяли и визжали по собачьи, но я никогда не воображал, чтобы за такое дело платили деньги: если пастух мог нанимать мальчиков для лаянья, то ему дешевле бы стоило содержать настоящую собаку, рассуждал я. Однако гость

сказал, что лаянье лучше чем нянченье ребенка, и при этом он еще не знал, как худо мне живется, как мало заботится обо мне отец, как мучит меня миссис Бёрк. Для него было неприятно нянчить ребенка, для меня это настоящая пытка.

Глава VII

Мои мученья с Полли. Я принужден бежать из дому

После женитьбы отца на миссис Бёрк жизнь моя пошла еще хуже прежнего. До тех пор миссис Бёрк уносила на ночь ребенка к себе, и я мог хоть спать покойно. Но теперь мачеха и отец решили, что Полли будет спать на одной кровати со мной. Если бы она спала по ночам, то это распоряжение не огорчило бы меня. Кровать, стоявшая в комнате миссис Бёрк, была достаточно широка для нас обоих; и я так любил свою маленькую сестрицу, что мне даже приятно было спать с ней вместе. Но дело в том, что она спала очень мало. Кажется, у неё прорезались зубы, и оттого она была так беспокойна. Ее укладывали в мою постель рано вечером и, ложась спать, я всеми силами старался не разбудить ее. Если это удавалось мне, я мог спать спокойно часа три, четыре. Но во втором часу ночи она непременно просыпалась и начинала кричать во все горло; ее ничем нельзя было успокоить, ей непременно нужно было дать пить и есть. Около нашей постели всегда клали кусочек хлеба с маслом и ставили горшочек молока с водой; она молчала пока ела, но по ночам аппетит у неё был удивительный и, быстро истребив все припасы, она опять принималась кричат. Никакие ласки, никакие песни, никакое баюканье не могли успокоить ее.

– Мама! Мама! Мама! – орала она так, что слышно было на другом конце улицы.

Я напрягал все силы своего ума, чтобы выдумать что-нибудь для её успокоения.

– Полли, не хочешь ли погулять с Джимми? – спрашивал я ее, и иногда, особенно в светлые, лунные ночи, она соглашалась. Мы, конечно, не могли в самом деле идти гулять, но Полли не понимала этого. Мы с ней одевались, как будто собирались выйти на улицу. Я надевал на нее черную креповую шляпу миссис Бёрк и накидывал ей на плечи свою куртку. Мой костюм для гулянья состоял просто из старой меховой шапки отца, хранившейся под нашим тюфяком. Когда мы были одеты, я говорил, передразнивая миссис Бёрк:

– Джимми, погуляй с Полли, покажи ей лавку с леденцами! И отвечал уже своим голосом: «Мы готовы, сейчас идем». Затем мы отправлялись на прогулку, но никак не могли найти двери. В этом состояла главная штука. Нам нужно было выйти на улицу, чтобы купить леденцов, а мы не могли добраться до дверей. Большая шляпа, надетая на голову Полли, отлично помогла мне в этом случае. Её длинные поля играли роль наглазников для глупенькой сестрицы, она могла смотреть только прямо перед собой и не видела ничего по сторонам. Часто Полли, прогуляв таким образом у меня на руках с полчаса, засыпала, и я осторожно укладывал ее в постель. Иногда она или сама просилась лечь или слушалась моего совета, что лучше лежать и смотреть в окно, пока гадкая дверь не вернется на свое место. Иной раз она лежала спокойно только пока согревалась, а потом начинала опять проситься гулять. Случалось, – и это было всего хуже, – что она совсем не хотела идти гулять; напрасно обещал я ей леденцов, напрасно я лаял по-собачьи, мяукал по-кошачьи, представлял ослов и бешеных быков, она ничего не слушала, ни на что не смотрела и громким голосом требовала «бар». Словом «бар» она называла хлеб с маслом, и это слово она с криком повторяла в ответ на все мои увещания. За стеной раздавался стук: это мачеха колотила палкой.

– Что ты там делаешь с бедной крошкой, злой мальчишка?

– Она просит «бар».

– Так что же, ты не можешь встать и подать ей, лентяй?

– Да нечего подавать, она все съела.

– Как, все съела? Ах ты лгун! Ты верно опять принялся за свои гадкие штуки, съел всю пищу бедной малютки? Сейчас же успокой ее, не выводи меня из терпения, не то тебе достанется!

Я знал, что мне в самом деле сильно достанется, и начинал со слезами на глазах упрашивать Полли замолчать. Но не тут-то было. Заслышав голос «мамы», она принималась кричать больше прежнего. Дрожа от страха, я слышал шаги в соседней комнате, скрип дверной ручки, и вот рассерженная мачеха в одной рубашке и ночном чепце врывалась в комнату. Не говоря ни слова, она бросалась на меня и начинала без милосердия бить меня по голому телу: она прижимала мне голову к подушке и давила меня до того, что я не мог даже кричать. Отец не

знал, что она со мной выделывает, так как она все время повторяла громким голосом, что отколотит меня, если я еще раз съем кушанье ребенка.

– Да что ты это стращаешь попусту, – кричал отец из другой комнаты: – ты бы хорошенько задала ему, жадному мальчишке, а то он в грош тебя не ставит!

– Да, уж и мое терпение скоро лопнет! – говорила мачеха. – Смотри же ты, негодяй!

Затем она возвращалась в комнату и говорила отцу:

– Лучше обойтись без побоев, Джемс, побоями немного хорошего можно сделать из ребенка.

Удивительно, что после потасовки, заданной мне, Полли обыкновенно свертывалась клубочком и засыпала, как будто ни в чем не бывало. Оттого отец думал, что я и в самом деле могу успокоить ее, когда захочу. Раз я не вытерпел и стал жаловаться отцу на мачеху.

– Нисколько я тебя не жалею, – отвечал он: – такого упрямого негодяя надо бы еще не так учить.

– Ну, – сказал я: – недолго ей надо мной потешаться: – выросту большой, так я ей себя покажу.

Отец посмотрел на меня и засмеялся.

– Кабы я был больше, – продолжал я, ободренный его смехом: – я бы ей нос расшиб, я бы ей перебил ноги, я ее ненавижу!

– Полно глупости болтать, – остановил меня отец.

– Она вам все лжет. Мне минутки нет свободной, я должен возиться с Полли!

– Эка важность, присмотреть за ребенком! Другие мальчики в твои годы уж умеют сами деньги зарабатывать!

– И мне бы хотелось работать, папа.

– Хотелось работать! Работу надо искать, она сама к людям не приходит! Вон я, как иду на рынок, часа в четыре, в пять часов утра, когда ты еще спишь, встречаю мальчиков вдвое меньше тебя; заработают себе пенни, другой, ну и поедят, а нет, так и сидят голодные.

– У меня нет порядочной одежды, даже нет ни чулок, ни сапог, папа, как же я пойду искать работы!

– Ах ты дурак, дурак! Ты думаешь для работы нужен наряд; вон у тех мальчиков, про которых я говорю, одна рубашка на теле надета, а дело делают, носят рыбу, корзину с картофелем, стерегут лодки и тележки с товаром; а тебе нужно идти на работу в белой манишке да в лайковых перчатках, хорош гусь.

Отец с презрением отвернулся от меня и ушел.

Этот разговор с отцом происходил у меня уже через полгода после его свадьбы. Обращение миссис Бёрк со мной становилось с каждым днем невыносимее, особенно после того, как один раз отец нашел ее пьяной и побил. Часто мне приходилось бы голодать по целым дням, если бы мне не помогала миссис Уинкшип. Миссис Уинкшип давно знала мою мать и всегда хвалила ее: – «Она была слишком хороша для твоего отца, а он слишком хорош для этой злой, хитрой Бёрк», говаривала она. Я обыкновенно поверял миссис Уинкшип все свои огорчения. Она всегда зазывала меня к себе на кухню и кормила остатками своего обеда. Иногда она брала к себе Полли и нянчилась с ней, пока я играл часок, другой. Я спросил у миссис Уинкшип, что такое «лаятель?» она объяснила мне, что так называют мальчика, которого нанимает разносчик, чтобы везти тележку с товаром, присматривать за ней, пока хозяин закупает на рынке разные вещи, и потом помогать ему выкрикивать свой товар, когда он пойдет продавать его по улицам.

– А как велик был самый маленький «лаятель», какого вы видали? – полюбопытствовал я.

– Как велик? Да я видела таких, что придутся тебе по плечо. Тут рост последнее дело, главное надобно иметь музыкальный голос!

Миссис Уинкшип мне долго толковала о том, как много значит для продавца уменье громким и приятным голосом выкрикивать свой товар, и о том, что каждую вещь следует выкрикивать особенным голосом.

После этого разговора меня постоянно стал мучить вопрос: есть ли у меня музыкальный голос? Мачеха моя считалась хорошей певицей, я научился у неё нескольким песням и часто напевал их Полли совершенно верно, как мне казалось. Но кто знает, может быть мой голос, хороший для песен, окажется никуда негодным для выкрикивания рыбы или каких-нибудь плодов? Мне, во что бы то ни стало, хотелось избавиться от колотушек мачехи, а я не мог придумать для этого другого средства, как сделаться «лаятелем». Я несколько раз пытался кричать, подражая то тому, то другому разносчику, но никак не мог решить, хорош ли мой крик, и могу ли я приняться за ремесло, казавшееся мне таким приятным сравнительно с моей настоящей жизнью.

Раз, сидя на нашей лестнице с Полли на руках, я так задумался над этой мыслью, что малютка вывернулась у меня из рук и с криком покатилась по каменным ступеням. Миссис Бёрк услышала её крик и налетела на меня с быстротой молнии. Не слушая моих объяснений, не позаботившись даже поднять ребенка, она схватила меня за волосы и стукнула несколько раз головой о стену. Она хотела взять меня за ухо, но я увернулся, и она до крови расцарапала мне ногтями щеку. Потом она принялась бить меня кулаками и защемила мой нос между своим средним и указательным пальцами. Боль привела меня в бешенство. Я вырвался из её жестких рук и укусил ее за палец. Она вскрикнула от боли и выпустила меня. Воспользовавшись этим, я бросился от неё в сторону и пустился со всех ног бежать по нашему переулку.

Глава VIII

Вечер на Смитфилдском рынке. Я чуть снова не попадаюсь в когти миссис Бёрк

Не знаю, преследовала ли меня миссис Бёрк. Выбежав из переулка Фрайнгпен, я не поворачивал назад и даже не оглядывался. Я пробежал мимо доброй миссис Уинкшип, и она, догадавшись по моему перепуганному лицу, что я бегу от большой опасности, прокричала мне: – Беги, Джимми, беги, спаси тебя Господи!

Из переулка я побежал по Тернмилльской улице и повернул к Смитфилдскому рынку. Я понимал, что на открытом месте миссис Бёрк легко может догнать меня, но в закоулках и узких проходах рыночной площади ей меня не отыскать.

День был не базарный, и площадь была спокойна и пуста. Я хорошо знал ее, так как часто играл на ней со своими товарищами; я помнил, что мальчики не любили ходить в «свиной ряд», и направился именно туда. Я влез на ступеньки одной закрытой лавки и принялся осматриваться кругом. Миссис Бёрк не видно было нигде. Мимо меня проходили незнакомые люди, не обращавшие на меня никакого внимания. Когда я вспоминаю теперь, каким я был в те минуты, меня удивляет, что я не возбудил любопытства прохожих. Правда, в этой части города было много бесприютных и оборванных мальчишек, но навряд ли который-нибудь из них выглядел таким несчастным, как я. Я заплакал, когда миссис Бёрк начала бить меня, я плакал все время, пока бежал, и теперь продолжал плакать, сидя на ступеньках. Я запыхался от сильного бега, и рыдал от боли и от злости, слезы мои смешивались с кровью из царапин, проведенных по моему лицу ногтями миссис Бёрк; волосы мои были всклочены, шапки на мне не было; мои босые ноги были все в грязи, куртка была покрыта дырками и заплатами. Вот в каком виде сидел я на ступеньках свиного ряда в теплый майский вечер.

Первые полчаса, даже может быть час, мои мысли были заняты одним: зная характер миссис Бёрк, я все боялся, что она притаилась где-нибудь в углу и вдруг набросится на меня. Я беспрестанно осматривался по сторонам, я пугливо прислушивался к каждому шороху. Но время шло, а моего врага нигде не было видно. Мало помалу я успокоился и, услышав, что на церковных часах уже пробило четыре часа, начал серьезно обдумывать, что мне делать. Идти домой? Нет, невозможно, она убьет меня. Теперь она может делать со мной все, что захочет: она покажет отцу свой укушенный палец, и он скажет, что мне достается поделом. Что я скажу в свое оправдание? Я укусил ее, это было гадко; кроме того я уронил ребенка. Мне велели сидеть смирно и крепко держать девочку, а я ее выпустил из рук, она ушиблась и, может быть, очень сильно. Бедная Полли! Она упала с ужасным стуком и криком, может быть, у неё переломаны теперь все кости! Может быть, оттого мачеха и не погналась за мной. Нет, нечего и думать возвращаться домой!

Но куда же мне деться? На улице стемнело; начали зажигать фонари, и сидеть в свином ряду оказывалось очень неприятно. Я пробрался до первого ряда рынка и там опять сел, стараясь как можно серьезнее обдумать свое положение. Чем темнее становилось, тем мне больше и больше хотелось есть. Я стал думать о

том, что со мной случится, если я вернусь домой. Я припоминал самые сильные потасовки, доставшиеся мне, припоминал, какую боль я при этом чувствовал, предполагал, что на этот раз меня отколотят вдвое сильнее, и старался представить себе, в состоянии ли я буду перенести такое наказание. В конце концов я, кажется, убедил себя, что выдержу, как вдруг кто-то дотронулся до моей руки и, подняв глаза, я увидел перед собой господина, державшего в руке два пенса.

– Ах, ты, бедный замарашка! – сказал он сострадательным голосом: – возьми, купи себе хлеба!

Прежде, чем я успел опомниться от удивления, сострадательный господин исчез в темноте. Я даже не поблагодарил его и не знал, радоваться ли мне или огорчаться полученным деньгам. Я их не заслужил, не заработал, я их вовсе не ожидал. Другие люди дарили мне иногда по полупенсу, и тогда меня занимала одна мысль, на что бы скорее истратить свое богатство. Но к двум пенсам незнакомого господина я относился иначе. Зачем он не сказал просто: «вот тебе два пенса!» Меня многие называли замарашкой, и это не оскорбляло меня, но зачем он велел мне купить хлеба на свои деньги, как будто я нищий! Я чувствовал себя оскорбленным точно после побоев миссис Бёрк. Я огляделся во все стороны и был очень рад, что никто не видал, как мне подали милостыню. Чтобы поддержать свое достоинство, я закричал громким, задорным голосом в ту сторону, куда прошел сострадательный человек:

– Что вы мне за господин! Не стану я покупать хлеба! Куплю себе, что хочу!

И я пошел с твердым желанием сделать назло человеку, подавшему мне милостыню. Я решительно отвертывался от булочных, попадавшихся мне на дороге, и старался думать только о лакомствах. Так я дошел до одной небольшой лавочки, где продавались разные варенья и желе. Они были сложены в большие стеклянные банки, и на каждой банке была надпись с обозначением цены. Особенно соблазнительной показалась мне одна банка с вареными сливами. На ней стояла надпись – восемнадцать пенсов за фунт. Я стал считать по пальцам и после долгого, утомительного вычисления нашел, что две унции этого варенья будут стоить два пенса и фартинг. Одного фартинга у меня, правда, не хватало, но все равно, я могу спросить себе просто на два пенса. Два пенса – деньги хорошие, это не то что какие-нибудь полпенса.

– Пожалуйте мне варенья из слив на два пенса! – повторил я самому себе и твердыми шагами пошел к дверям лавки, но едва ступил я на порог, как получил по уху удар, отбросивший меня назад на улицу.

– Убирайся прочь! – крикнула старуха, хозяйничавшая в лавке, я уже минут десять слежу за тобой, дрянной воришка! – и с этими словами она заперла дверь на задвижку.

Я был страшно раздосадован. Я бросился на улицу за камнем и хотел разбить им окна гадкой лавчонки. Но в эту минуту меня поразил такой заманчивый запах, что гнев мой вмиг исчез.

Запах этот выходил из соседней съестной. Должно быть, там только что вынули из печки гороховый пудинг и масляные лепешки. Что было бы со мной, если бы я подошел к дверям съестной, уже истратив на жалкую каплю варенья свои два пенса! Не колеблясь ни минуты, я вошел в съестную и купил себе ужин; одну масляную лепешку, кусок горохового пудинга на полпенса и на полпенса печеного картофеля. Мне хотелось тотчас же приняться за ужин, но я слыхал, что на свете есть злые люди, которые подстерегают беззащитных детей и обирают их. Поэтому я завернул свой ужин в капустный лист, спрятал его за пазуху куртки, вернулся в свиной ряд и там с величайшим наслаждением съел все, до последней крошки.

Не скажу, чтобы я был вполне сыт. Нет, я мог бы съесть втрое больше, но все-таки ужин несколько утолил мой голод. После него я почувствовал себя вообще лучше и стал даже как-то добрее. Мысли мои опять перенеслись к маленькой Полли. Каково-то ей теперь? Я думал о ней больше, чем об отце, о доме и о чем бы то ни было. И не удивительно: хотя она мучила меня и днем, и ночью, но она все-таки была очень милым ребенком. Она не могла разговаривать со мной, но я видел, что ей очень неприятно, когда я плачу; часто, когда после побоев миссис Бёрк мне было так тяжело, что я не знал куда деваться от горя, маленькая Полли обвивала мою шею своими крошечными ручками, прикладывала губы к щеке моей и нежно целовала меня. Она была моим единственным утешением и, вероятно, я также был единственным утешением бедного ребенка.

Все эти мысли и сотни других еще более печальных мучили меня, и, наконец, мне стало так тяжело, что я решился пойти домой, или хотя побродить около нашего переулка, пока не встретится кто-нибудь из соседей, кто мог бы порассказать мне, что у нас делается.

В это время было уже совсем темно, и по дороге от Смитфилдского рынка к нашему переулку мне встретилось мало прохожих. Я шел очень осторожно, осматриваясь по сторонам и прятался в подворотни всякий раз, когда мне казалось, что навстречу идет кто-нибудь похожий на отца или на миссис Бёрк. Мой страх был напрасен, и я в безопасности прошел уже половину Тёрнмиллской улицы. Вдруг, не доходя сажен двадцать до нашего переулка, я наткнулся на одного из моих приятелей, Джерри Пепа, мальчика годами тремя-четырьмя старше меня. Впрочем, скорей можно сказать, что не я наткнулся на него, а он на меня. Он бежал через улицу прямо ко мне и обнял меня обеими руками, как будто необыкновенно обрадовался мне.

– Джим! милый друг! – вскричал он. – Куда ты идешь?

– Сам не знаю, Джерри, – отвечал я. – Хотелось мне сходить домой посмотреть…

– Разве ты не был дома? – Не был с самого утра, с тех пор как убежал?

– Нет, я целый день пробыл на улице. Что там у нас делается, Джерри? Не видел ли ты маленькую Полли сегодня после обеда?

Пеп не отвечал на мои вопросы.

– Если ты не был дома, так иди скорее, – сказал он, схватывая меня за ворот и толкая по направлению к нашему переулку. – Пойдем, пойдем.

Поведение Джерри показалось мне подозрительным.

– Я пойду домой, когда захочу, – сказал я, и сел на мостовую: – тебе нечего толкать меня, Пеп!

– Я тебя толкаю? Вот-то выдумал! С какой стати мне тебя толкать! – ты же сам сказал, что идешь домой? – Стоишь ты, чтобы тебе оказывали услуги!

– Какие услуги, Джерри?

– Какие? Очень просто какие! Там в переулке все время ревут по тебе, и отец, и мать, и маленькая Полли, даже слушать жалко! Ужинать без тебя не хотят садиться, а у них к ужину приготовлен огромный мясной пудинг с картофелем. Я и думаю себе: они тут убиваются, а бедный Джимми шатается по улицам, боится вернуться домой. Пойду-ка, скажу ему, что бояться нечего. Вот и пошел, а ты валяешься себе на мостовой, да думаешь, что я вру!

Я посмотрел прямо в лицо Джерри, и при свете газового фонаря лицо его показалось мне таким честным, что я перестал сомневаться. А между тем рассказ его был почти невероятен. Все обо мне плачут, мясной пудинг стынет из-за меня! Я почувствовал угрызения совести, и даже слезы выступили на глазах моих.

– Джерри, ты это правду говоришь? – вскричал я, вскакивая на ноги: – ты уверен, что это правда? Потому ведь ты знаешь, как мне плохо придется, если ты сказал неверно. Ведь ты знаешь, как она меня бьет и таскает за волосы!

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/grinvud_dzheyms/malen-kiy-oborvysh

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить